

[НОВАЯ ПОЭЗИЯ]

[Новая поэзия]

Анастасия Афанасьева

Белые стены

Новое литературное обозрение
Москва
2010

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
А ???

Анастасия Афанасьева
А ??? Белые стены: стихотворения. — М.: Новое литературное обозрение, 2010 (Серия «Новая поэзия»)

ISBN 978-5-86793-???-?

Анастасии Афанасьевой удалось сделать, казалось бы, невозможное для русской поэзии — создать личную версию социально-философской лирики, изначально освобожденную от мучительной рефлексии на темы власти и государства. Многочисленные персонажи, порой целыми толпами населяющие ее стихи, находятся на том же метафизическом уровне, что и автор: каждому из них можно заглянуть в глаза и вступить в диалог. Самыми важными в ее произведениях становятся «неправильные» и малозаметные участники событий. Пчела, готовящаяся пролететь через городской пейзаж, «мертвый сосед Григорий», девушка, нелепо себя ведущая на концерте, — каждый из этих персонажей, внезапно отяжелев, на весах поэзии Афанасьевой перетягивает все остальное мироздание, поднимает его в воздух, позволяет ему раскрыться, как огромный цветок, и стать невесомым и сияющим.

Поэт, переводчик поэзии, прозаик, врач-психиатр Анастасия Афанасьева (р. 1982) живет и работает в Харькове, регулярно публикуется в журналах Украины и России. Она удостоена премий Интернет-журнала «РЕЦ» (2005), «ЛитератураРентген» (2007) и Русской премии (2007). Это — третья книга ее стихотворений.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Без минусовки

Сначала совершенно частная вещь: этот кодекс стихотворений в Афанасьевой я видел в рукописи, проглядывая их на ее московском вечере, уже после выступления. Ясно, что все это — реально, но внимательно вчитываясь в сочетания слов там не получалось. Откуда и возникла совершенно частная ассоциация.

Давно, еще был школьником, я попал в небольшой латвийский город на море — если конкретно, в Вентспилс. Ходил по нему, а он небольшой: зима, снег, солнце светит. Там какой-то то ли парк, то ли городской лес, а, может, и кладбище. С одной стороны — заснеженный пустырь, а с другой — край этого леса и на краю стоит небольшая церковь. Лютеранская. А Латвии северное лютеранство, традиционное — те же кирпичи, что у католиков, но — пустые помещения, беленые стены. Никаких, понятно, икон, только черные доски, на которые выставляются белые плашки с черными цифрами — номера псалмов.

Дверь была открыта, а внутри — совершенно пусто. Забрался на хоры — пусто и там, разложены молитвенники, уже раскрытые на какой-то нужной странице. Но вот это не о том, как иногда в жизни бывает эстетично. Ощущение состояло в другом: вот чистое пространство, в котором что-то будет происходить. Такое место, чтобы в нем возникло что-то определенное. Не лирическая, а техническая картинка.

В случае Афанасьевой происходит что-то похожее: она, прежде всего, выстраивает пространство стихотворения, а

затем еще и производит там действие. Такое письмо уже предполагает определенную отчужденность. Вот, метафоры у нее редки. Эпитетов практически нет. К слову — реально же мало, эпитеты появляются лишь тогда, когда передается чья-то речь или ощущения — его, говорящего внутри, эпитет его речи: для его же уточнения.

Ну а когда читаешь, то все, понятно, несколько сложнее, но основное остается. Сам факт построения пространства, в котором будет что-то происходить, настолько очевиден, что и доказывать нечего. Хоть вот это:

Пустые палаты
 Луч проникает
 Будто какой-то чужак
 Пыль подсвечивается и кружится,
 Танец ее одинок

Нет эпитетов-шаблонов-образов локального характера. Сравнения если и есть, то, опять же, технического свойства — смонтировать пространство очередного стихотворения. Эпитеты не эмоциональные, они не связывают автора с его текстом, но укоренены там, внутри. Ну вот как алфавит — английский, так и человек — дырявый. Не эпитет, а он такой там внутри есть.

Каждое из стихотворений является, в общем, арт-объектом — реализованным в виде стихотворения. Делаются объекты, а не метафоры расписываются:

Мне проще поверить в синий бесформенный пластик,
 Который машины превращают в бездонную емкость,
 И который под крышей завода становится формой бутылки,
 После горлом наружу стоит.

Кроме того, у Афанасьевой нет склонности к определенному ритму, качаясь в котором удобно сообщать о социальных проблемах или чувствах, переполняющих автора. Каждое из стихотворений не хочет быть очередным ежедневным переживанием все в том же каком-нибудь ямбе на

раз-два-три. Ритмически может быть что угодно, любая даже смутно или прямо узнаваемая лирика. Причем — тут никаких заимствований, эти повторы работают иначе. Скажем:

В целом, не думаешь о том, что двигаешься навстречу —
 просто перемещаешься в теплом пространстве,
 в течение некоего времени, за которым не следишь.

Откуда бы это могло взяться? Практически, из 4-х кватретов:

Настоящее и прошедшее,
 Вероятно, наступят в будущем,
 Как будущее наступало в прошедшем.

А вот если их сложить вместе, так еще интересней, притом, что получилась явно другая история в другой среде:

Настоящее и прошедшее,
 Вероятно, наступят в будущем,
 Как будущее наступало в прошедшем.
 В целом, не думаешь о том, что двигаешься навстречу —
 просто перемещаешься в теплом пространстве,
 в течение некоего времени, за которым не следишь.

Далее — ритм и ритмика не довлеют происходящему, стихи не слишком озабочены тем, чтобы быть именно стихами. Собственно, у нее же есть и проза, сделанная примерно на том же принципе: если вполне естественное отношение с этими выстраиваемыми пространствами назвать принципом. Там никакая не проза поэта, просто чуть иное заполнение изготавливаемых пространств — как в данном случае удобнее, так и заполняются.

Причем, вот эти пространства выстраиваются без намеренного желания их построить. Здесь вообще интересно — с технологической стороны (а она в среднесрочной перспективе приводит к новой поэтике): как они строятся, если нет целенаправленной отработки этого строительства? Что во-

обще — с этой стороны — происходит в стихотворении? Там истории из жизни, включающие в себя чувства участников, но — все эти описания работают и на пространство, и на само действие. Причем, определить внутри текста то, какое слово и фраза работают на что именно — нельзя. Разве что метафоры и эпитеты — если уж они появятся — не будут выражением отношения автора к ситуации, но пойдут на уточнение пространства или позиций лиц, участвующей в истории.

Дальше снова непонятно, еще одна особенность или следствие уже из сказанного: да, конечно, все слова порождены опытом автора, личными ощущениями, воспоминаниями и т.п. Но — все это без «минусовки», без той фонограммы, которая предполагается доступной каждому читателю по умолчанию — подключая его опыт личной жизни и известных ему обстоятельств. Здесь лично его ассоциации и бытовой опыт не нужны. Простой пример сразу этих двух положений:

Прохожу сквозь станцию
вижу людские тела как россыпь темных камней
в чьей-то шкатулке неподвижной,
отделанной под мрамор
...А прибывающий грохот и свет
переворачивает все вверх дном,
камни катятся, трясутся, стучат,
ударяются друг о друга,
прыгают в реку,
уносятся по течению,
местность запустевает
...Вот только не разобрать, что это за место —
то ли берег, то ли шкатулка, то ли метро

Это не метафора для эстетики. Это именно угол восприятия, предполагающий определенное изменение чувств. По второму пункту, про фонограмму: метро есть и в Москве и в Харькове. Какое тут? Собственно, а как бы Афанасьеву воспринимали в Москве, если бы она была слишком уж привязана к этнографии и быту Харькова?

Итак, содержание истории отчуждается от автора, поскольку автор выстроил для этой истории отдельное место. Но что именно происходит внутри пространства каждого из стихотворений? Вот это трудно определить. Не «случаи», разумеется. Не «истории». Не «трипы», в конце концов. Но там внутри не объект, поскольку происходит переживание. Но это не сценарий общераспространенных чувств, пространство выделено из общего. Это не сценка, отсутствует театральная заданность. Это не ситуации, наконец. Те всегда выводятся из общепринятого опыта живут и только на его фоне.

Е. Абрамова однажды удачно применила термин *case* в своей работе по советской абстракции. Там дело в том, что как-то в целом это явление не определить. Нет там общей логики и естественного тренда. Она распадается вот именно, что на кэйсы отдельных участников процесса (если даже процесса). «Кэйс» да, это уже близко, но в кэйс все же упаковывается изрядный анамнез героя, непременно — со всеми возможными минусовками и т.п. А у Афанасьевой — наоборот, не пакуется, а предьявляется заново.

Эффективность метода очевидна: действующие персонажи существуют во вполне чистом пространстве, которое уточняется вместе с развитием действия. Все реакции и отношения внутри. Автор их обеспечивает, но как-то на отделении. Тут да, как быть со словами? С одной стороны вроде как они главные, должны быть четкими:

Смотри, летит над яблоней печать —
ты думаешь, я должен означать?
Я никому и ничего не должен.
Где слова нет — там нет предмета, и
наоборот:
где нет предмета — слово
бездомно.

Но тут же и обратное отношение: если есть предмет речи, для которого нет слова, то слово можно и сделать.

Успокой меня во мне,
 утихомирь.
 Эту жалобность во мне
 утихомирь.
 Ту растерянность во мне
 утихомирь.
 Я из роста в рост иду:
 утихомирь.
 Если есть ты, этот вот, Утихомирь...

Почему я говорю только о том, как это устроено, а не о том, что там выражено? Это да, субъективно, но интересно, как здесь возникает связь со структурами арт'а как такового. Это даже интересней, чем просто появление новой поэтической формы. Конечно, вопрос — не слишком ли я навязываю такую интерпретацию? Но вот закрывающее книгу стихотворение:

Послушай, крошка, — сказал сосед соседу.
 Я отработал твою оранжерею.
 Три дня ничего не делаю, жру и жирею.
 Позволь мне остаться бесплатным садовником.
 Есть униформа: фрак и кеды.
 Другой лежит под цветами, ничего не слышит.
 Комната доверху в редких розах, он еле дышит.
 Пошевелиться не может
 У первого в руках ненужные спицы
 С каждым словом изо рта выпрыгивает цветок
 Первый говорит и не может остановиться
 Другой не может не задохнуться.

Тут просто работа Neo Rauch'а, только не на холсте, а словами — я не уверен, что автор знает о его существовании. И, к слову, вопрос открыт в обоих случаях: как определить то, что там (на плоскости или в тексте) возникает? Не перформанс, не акция, не инсталляция, что именно? Следующий вопрос: что именно означают такие сдвиги? То, что переме-

ны письма происходят, хотя и могут быть незаметными на фоне парада интимной, гражданской и гражданственно-интимной лирики.

Это общие процессы, жестко не привязанные ни к живописи, ни к другим формам изобразительной деятельности, ни к письму. Что предполагает перспективу дальнейших включений. Еще вопрос: чем же, все же, заполнены эти пространства Афанасьевой? Дальше начинается ее книга, там и ответы.

Андрей Левкин

Мерцающий воздух

* * *

Это мы, стоящие лицами к самим себе спинами к
собственной памяти
это мы, замершие в некоем жесте на полуслове
вздрагнувшие от внезапной тишины прямо стоящие —
это мы

Каждый из нас в отдельности стоит лицом к собственному
лицу
стоит в смятении
Кто это, думает каждый, неужели это я?
Кто это?

Это мы, слабые, поэтому ошестившиеся, недолюбленные,
поэтому немного злые,
занимающие не свои места, поэтому невысказанные,
бедные, поэтому жадные, разуверившиеся, поэтому
парящие в воздухе без точки опоры,
отчаянно хватающиеся за поручни —
это мы

Каждый из нас в отдельности стоит лицом к собственному
лицу
стоит в отчаянии
Кто это, думает каждый, неужели это я,
казался телом, а оказался взглядом, сиянием его
беспросветно огромным
Кто это через мои глаза говорит,
кто это?

Это мы, наши дипломаты сумки бумаги летят в небеса
странными птичьими стаями,
отпущенные ненужные плоские белые черные серые
коричневые сжимающиеся в точку,

Ожидание, страдание, радость, грусть,
Голос, немота, смерть, ревность, счастье
Удивительно, как живем,
особенно — как продолжаем жить,
как прибывают новые пассажиры

Вот только не разобрать, что это за место —
то ли берег, то ли шкатулка, то ли метро
и кто мы все,
живущие,
продолжающие жить,
и что это за свет,
что за ветер?
Не может быть,
неужели
это просто
на станцию прибывает электропоезд?

* * *

Лицо отрешенное мальчика
волосы его белые запутанные
локоны его почти девичьи

Старушка приплясывающая в вагоне метро
украинские народные с шапкой на вытянутой
красно напомаженные ее губы

Индиец со скрещенными ногами кожа его
коричневая волосы черные как земля
тень его длинная как зима

Дети еще не родившиеся их влажная тьма
их внутриутробные движения толчки
невидимая их кожа

Повсеместная нежность и безнадежность

Куда ты смотришь, на кого
ведешь свое войско:
отступи и обезоружься

Посмотри на них,
пришла пора остановиться и задохнуться,
увидев белые волосы его,
старушечьи губы ее,
коричневую кожу его,
заполняющее присутствие его

Пришла пора научиться плакать
вынести сор из избы
чтобы никогда о нем не вспоминать

Прими от меня в дар салфетку
вытирать слезы

В этом клочке бумаги
все, что я могу тебе отдать

* * *

1.

Кто мы в пространстве
прозрачного холода и высоты?

Кто мы без лиц и без рук,
без радужек плотного цвета?

Кто сообщается в нас
посредством касаний и взглядов?

Из-за кого расширяется время,
краски мира становятся ярче?

Если это и есть настоящие мы,
не абсурдно ли смерти бояться?

Не странно ли думать, что реки текут
Только в одном направлении?

Не странно ли верить, что прикосновение
мимолетно, мгновенно, бесследно?

Не странно ли слышать, как тихо поют
бессловесные флюгельгорны времени?

2.

Слышно, как некто называет ее имя,
и она появляется на свет

От тоски по дому и высоте
она сама делается холодной и прозрачной

Видишь ли ты, смотря сквозь нее: твое имя
красным на ее легких выведено?

Не спрашивай, кто написал его:
просто носи ее на руках

Дальше дальше и дальше
носи ее дальше и дальше

Пока не придет время
пока время еще не пришло

* * *

Хочется слышать, как
вещи сталкиваются друг с другом
Хочется думать, что
бывает от подобных столкновений

Хочется видеть, как
рождаются новые вещи
Прикасться к тебе легко —
вот чего хочется

Наблюдать: камень бьется о камень,
раскалываясь на новые
Хочется держать один из осколков
чувствовать: вот, его раньше не было

Хочется осязать, как
рождаются новые камни
Прикасться к тебе легко —
вот чего хочется

Хочется думать, что
бывает от трения ладони о щеку
щеки о щеку
руки о глубокое

Хочется чувствовать, как
между телами скользит неуловимое
Прикасться к тебе легко —
вот чего хочется

Хочется смотреть, как
легкость преодолевает земное притяжение

и прохожие отчаянно цепляются за ветки деревьев
но что-то тянет их вверх

(Прикасаюсь к тебе легко)

Чуть-чуть смеяться из-за этого и плакать чуть-чуть
Думать, что после рождения новых вещей
старым вещам неизменно приходится туго
Сочувствовать старым вещам

(Легко касаться друг друга)

Трогать старые вещи, трогать новые вещи
забывать, что новых не было раньше
Смотреть, как рождаются другие новые вещи
забывать, что их не было, снова смотреть, как
рождаются другие

Прикасаюсь к тебе легко
Как вещи сталкиваются друг с другом
Как неуловимое пронизывает их
От рождения до смерти

Легко прикасаюсь к тебе

* * *

поля чистые голубые
воздух прозрачный звенящий
кто там перемещается
ищущий и зовущий

открывающий глаза все реже
зажмуривающий все чаще
в штанах клетчатых
куртке коричневой замшевой

светловолосый

идет он!
идет он вслепую вперед! наощупь идет вперед!
воздух трогает землю слышит

идет вперед: неуверенно но без страха
ничего никогда не бояться
слышать чувствовать осязать

поле чистое голубое
воздух звенящий прозрачный
идет совсем человеческий
уязвимый значит

ведомый воздухом и землей
замшевый клетчатый
посреди зеленого черного голубого
зжмуренный отчаянный

светловолосый

идет он! идет он!
наощупь идет вперед!

радость если яблоко падает на ладонь
смирение если только воздух в руке

говорит спасибо за всех кто встречался мне на пути
кто учил меня идти помогал мне идти или мешал мне идти
кто гладил меня по щеке или бил меня по щеке
кто переправлял меня через реку или пытался утопить
в реке

спасибо за этих и тех простите эти и те
я принес бы с небес запятую
если бы она не таяла в руке
сразу как к ней прикоснешься

* * *

Белым синим застигает
синим, белым

Корабликом бумажным
выплывает откуда-то из-за кадра

На теле его клетчатом напечатано слово:
чувство

Бело-синее, будто зимнее небо
будто детский мячик
будто молочная упаковка

Бело-синее, будто само пространство:
без препятствий, без предметов,
останавливающих взгляд

Будто сам воздух где-то там высоко

Где-то там высоко
по небесной тропинке
идут бело-синие люди
Их светлые лица,
белки их глаз иссиня-белые

Идут по небесной тропинке
выросшие дети
с волосатыми руками
чуть обвисшими животами

Что там у них внутри,
бело-синее, что там у них

выплывает корабликом
клетчатым бумажным?

И почему у этого, с темными волосами,
ползет по щеке пчела?

А за тем почему по следам
не отстает огненный лис?

А в штанину этого отчего
вцепился зубами пес?

Куда они идут, странные и нелепые,
с таким живым бело-синим трепетом внутри,
со своими пчелами, лисами, псами?

Нужны ли ответы,
если сине-белое в груди —
то ли кусочек детства,
то ли частица Бога?

Мерцающая, неуловимая,
едва заметная в своем присутствии

Будто сердцевина яблока — неотъемлемая
в своем исчезновении

В ожидании пчелы

1.

Полураскрытый цветок —
Мир в ожидании
То ли пчелы, то ли ее отсутствия
Мир в ожидании
Неподвижный: ни дуновения, ни шороха, ничего такого,
Что нарушить могло бы
Мерцание
Горение
Необъяснимо тихое
Почти немое до тех пор,
Пока первая капля
Не приземлится
На тугой лепесток

Тогда рождается дрожь
Траектория
Путь воды между жил
Путь до земли
Погружение в землю
Влага земная

2.

Приближение пчелы просчитывается по гулу
По едва заметным переменам в воздухе
Странным дуновениям
И только потом по контурам ее тела
Тело появляется где-то там на границе поля зрения
В виде едва различимой точки

А потом приобретает свои привычные очертания
И надвигается
Надвигается
Заполняя собой все пространство

Громадное небо
Закрытое телом пчелы
Громадное небо-пчела
Мир дрожит в ожидании

3.

Мир полураскрытый дрожащий тающий трепещущий
Тишайший
Готовый больше никогда не быть прежним
Замерший у истоков речи
Не знающим каким будет новое слово
Новое дыхание
Но трепещущий так
Что внутри у него все перестраивается
Перекраивается меняется
Готовясь принять то, что приближается

Вот на что это похоже:
Самолет летит над дикой местностью,
А под ним, как грибы, по волшебному мановению
Вырастают посадочные полосы

4.

Мир, живущий по законам сердца
Меняющий свою форму
Ежесекундно делающий выбор
Быть или не быть готовым к тому,
Что ему предписано испытать
К чему это?
К чему ведет появление пчелы?
Цветам не знать и не спрашивать

Цветам дрожать смиренно
Под гудящим небом
Под каплями-бомбами
У истока речи
В надежде на новое слово

* * *

Я — это то, что я знаю о людях; я — то, как жизнь входит
в меня.

Я — этот маленький, дрожащий, сидящий на корточках,
обхватив колени, с глазами на пол-лица.

Я — это тело, как ни странно, это ощущение в области
угла, где сходятся ребра.

Ощущение тяжести, присутствия, пульсации, мерцания,
броуновского, что ли, движения.

Я — человек и я — не человек; я — это часть целого,
которое мы; мы — это часть целого, которое жизнь;
жизнь — это бог; бог — это

Я проживаю миллионы лет в каждой секунде и сейчас,
смотря на газовые горелки в кухне моей бывшей
мимолетной девушки.

Я — это мимолетность; я — это желание.

Я стою посреди огромной поляны, где никого нет.

Где мимо бегают немые ежи; где воздух заполнен ответом,
совершенно бессловесным

Я стою посреди огромной поляны, где никого нет

Я стою посреди огромной поляны

Я стою посреди поляны

Я стою посреди

Я стою

Я

...

Мерцающий воздух бессловесный свет повсеместный свет

Говорит мертвый сосед Григорий

* * *

Пустые палаты
Луч проникает
Будто какой-то чужак
Пыль подсвечивается и кружится,
Танец ее одинок

Там, где никого нет, начинается медленное выздоровление

Тихие невидимые больные
Выдыхают свои недуги
Оставаясь нетронутыми
Белыми листами бумаги
Гладкими и хрустящими

Там, где нет никого, мне хочется побывать
Неощутимым присутствием
Ниточкой в полотне истории
Совершенно незаметной

Качаться и качаться
В солнечном луче
Качаться и качаться
Слышать легкое потрескивание
Думать, что это за потрескивание
Прислушиваться
Пугаться
Качаться снова

Стараться не слышать, о чем там трещит в углу
Мертвый сосед Григорий

* * *

Время простое
и вещи молчат о простом
слышащим
видящим
быть невозможно

Ибо в молчании кроме дышать ничего

Как простоты
дотянуться
в дыхании ровном
чтобы каждая вещь
означала только себя
но не то, что придумал о ней
фантазер неудачный
человек исключенный
намертво впаянный в речь

Как бы в молчании кроме дышать ничего

Время
простое как воздух
в неоновых вывесках в шуме трамвайном
в стуке клавиатуры

Тони если тонется
в немому родную
надвое разделенную

Ибо в молчании кроме дышать ничего

* * *

Вода по асфальту
После дождя
Бежит, будто от холода тихий ребенок

Сжимать кулачки
Разжимать и смотреть на ладони
Там бабочка может родиться от взгляда такого
Или все, что захочешь: машинка, песочница,
Водяной пистолет

Только там, где тепло
Все происходит мгновенно и точно
Глаза раскрываются так широко,
Что в них помещается осень

Когда я ее различать научился,
Больше не смог отвернуться

Водяные следы на асфальте я трогал и чувствовал холод
Солнцем нагретые камни я трогал и тепло ощущал

Как ребенок, счастливый
Никуда не бегущий, просто стоящий
Дрожащий
Трепещущий

Трогал и трогал

Холодно, — я восклицал,
Тепло, — восхищался

Будто в последний раз видел и чувствовал осень

Будто отчетливо знал, что я временно вечный
Рожденный в ладонях
Существующий в исчезновении
Настоящий

* * *

Собирал бессмысленные предметы.
Гвозди, обертки из-под конфет.
Оставался на ночь, где ни попадя.
Редко оказывался в нужном месте.

Проклинал государственный строй,
Старение и военную технику.
Скучал на рабочем месте.
Мечтал о Дрездене или Ван Гоге.

Вышел из дома и не вернулся.
Синяя куртка, красный шерстяной шарф.
Бесперспективный, никому не известный.
Любимый, единственный.

* * *

Кто становится сильным не из-за скуки,
Качаясь в теплых стенах спортивного зала,
А в мерзлоте тягучей, жаре безмозгой,
Кто верит в безразмерность полета птицы,

Тому не увернуться от удара бутылкой,
Не избежать обмана от счастливой кассирши,
Не воспитать ребенка в духе традиций.

Кто смело смотрит в глаза другим пассажирам,
У кого там внутри все трясется, не успокоится —
То ли сердце, то ли детство, то ли чертенок прыгучий.

* * *

Вся родня говорила ей: успокойся,
Не по чину, не по рангу, не по положенью,
А она выходила на улицы, пела песни,
Одевалась по-шутовски.

А потом на службу шла, как ни в чем ни бывало.
Слухами полнился город, но как уволить
Человека, что не нарушил ни пункта КЗОТа:
Не пришьешь в трудовую танцы в клоунском виде.

А она танцевала и думала:
Прикасайся, касайся, кайся, меняй призванье,
Лица, движенья, крайности и границы.
Только когда от меня ничего не останется,
Я смогу родиться

* * *

Вальс, — говорит, — танец не для невротиков,
Шизофреников, психопатов и слабоумных.
Вальс — танец для настоящих военных,
Стройных, подтянутых, гордых и побежденных.

Полька, — отвечает, — мне нравится танцевать польку,
Когда в саду, будто бомбы, падают красные яблоки,
А зеленые мухи жужжат в пустых военкоматах,
Словно бомбардировщики.

* * *

Машенька выучила английский алфавит
И читает бабушке, у которой образование
Восемь классов вспомогательной школы.

Эй, — говорит Машенька, — би, си.

Эйбиси, — думает бабушка, — Эйбиси —
Должно быть, это то самое место,
куда мама с папой ушли.
Они мне сказали тогда:
«Сама нас найдешь, когда время придет»
Эйбиси, эйбиси, мама?

На равнинах Эйбиси не мороженое никогда не тает

* * *

Дырявый человек
Идет по тротуару
Идет он молча
Чуть-чуть качаясь

А кабы кончилась дорожка, что б он делал?
Подпрыгнул бы он очень высоко

Дырявый человек
Летит над полем
Летит он молча
Иногда сбиваясь с курса

А кабы небо кончилось, то что б он делал?
Спустился б и пошел по тротуару

И все б отлично, если б не загвоздка:
Дырявых человек не бывает

Пять континентов

Агате Вильчик

Континент А.

Все, что я здесь увидел, мне хочется рассказать.
Священник и полицейский под странным деревом,
Балерина и трансвестит, спорящие о чем-то в фонарном свете,
Трехногая собака, бегущая быстрее меня.
Этот мир необычен, я снял комнату у старой горожанки,
По вечерам она молчит, обмахивается веером.
Я совсем не выхожу из своей комнаты.
Лежа лицом к левой стене, я создаю миры,
Стоя лицом к потолку, я уничтожаю миры,
Стоя лицом к правой стене, я сохраняю существующее.
Я хочу, чтобы ты услышал меня, говорящим с тобой отсюда,
Из места, где все начинается и заканчивается,
Где я несу себя на руках и останавливаюсь у порога.
Где за помощью я обращаюсь не к человеку, а сразу к богу.

Континент Б.

Мне все чаще хочется обзнаться.
Принять спинку стула за человеческое лицо.
Увидеть спину и позвоночник вместо спинки дивана.
Услышать живую речь вместо буквенной вязи.
Человек, несомненно, не так совершенен,
Как произведение искусства,
Но так же глубок, жив. Речь человека
Засорена паразитами, нестройна, временами лжива,

А временами обращена прямо к тебе:
 ты огромное и небесное,
 заряженное звуком и сердцем,
 каждый день ты рождаешься,
 будто новые саксофон, контрабас, гитара, виолончель.
 Так тесно в собственных словах и теле,
 Что ты бы предпочел их несуществование.
 Но кто-то вручил тебе эти длинные темные волосы,
 прикрутил голову к плечам,
 поставил тело на ноги и сказал: иди.
 И ты идешь, совершенно не зная, что делать с тем,
 Что ты — человек, и вспоминаешь себя настоящего,
 Играя на бас-гитаре импровизации, мгновенно
 исчезающие,
 Как и положено любому звуку.
 В то время, как новые миры рождаются от несовершенства
 прежних.

Континент С

Старики играют в рулетку и в пьесе,
 Старики танцуют на судне и в балете,
 Дети пишут диктанты и стихи,
 Дети играют в футбол и на фортепиано,
 Зрелые дети пишут романы.
 Дети и старики рисуют деньги и картины.
 Людей так много,
 Очень мало детей и стариков,
 Нуждающихся в защите женщинами и мужчинами,
 Сильными, статными, неважно, красивыми ли,
 Способными перевести через мост,
 Через дорогу,
 Через себя,
 Способными простить то,

Что дети любят слова и звуки,
 Ненавидят слова и звуки,
 Равнодушны к словам и звукам —
 Так или иначе, их чувства и состояния
 Непременно связаны со звуками и словами.

Континент Ъ

Когда мои слова пересекаются с твоей музыкой,
 Чертик выпрыгивает из табакерки.
 Трамваи трогаются с места с лязгом,
 Двигаются деревья,
 Под ними начинаются разговоры молодых.
 Летают мячи, звенят монеты, храпят сторожа,
 Полосатые женщины ходят пешком за молоком,
 Кто-то называет ребенка Игорем.
 Коты взлетают на облака, собаки ходят на двух ногах.
 Мы вливаем бензин в мотор этого города,
 Который не подозревает о нашем существовании
 И о том, что мы его создаем.
 Все, что происходит в этом месте,
 Случается на самом деле
 Каждый несет ответственность за другого
 Каждая смерть является невозполнимой потерей
 Поэтому здесь не работают учреждения:
 Бухгалтер, милиционер и врач уже умерли
 Каждый житель одинок и бесценен в своей незаменимости
 Каждый знает ценность другого
 Поэтому здесь никогда не наступают на ноги друг другу
 А по утрам дарят друг другу мороженое или конфеты

Континент Я

Я видел тысячи очертаний, рассеянных повсеместно,
Будто газетные обрывки,
Летающие на ветру.
Я не трогал ни один из них,
Только наблюдал за их то плавными, то резкими
Движениями в воздухе.
Я думал, что мы смотрим на одно и то же из разных
сторон,
Или на разное из одной точки.
Я знал, что ты видишь другое.
Когда на одном континенте дождь,
На другом — засуха, и наоборот.
И только когда с неба падают огромные метеориты,
Из любой точки разных миров видно одинаковое сияние.
В его свете обрывки газет порхают, будто сказочные бабочки,
Асфальтовые дороги покрываются золотом,
А перья воробьев переливаются всеми цветами радуги.
Я знаю, что мы оба верим в эти метеориты,
Несмотря на скептицизм наших сограждан,
И мы рассказываем о том, что они существуют
Настолько убедительно, что нам верят —
Во всяком случае, в течение того времени,
Пока нас слушают.
Именно в этот момент метеорит рождается на свет,
И рассекает атмосферу

Я выбираю флаг

Поселок и авиакатастрофы

Люди с правой улицы
и люди с левой улицы.
Делают, что заблагорассудится.
Делают, что хотят.
Люди с центральной улицы
примиряют их,
утихомиривают.

Так проходит жизнь в поселке много лет подряд.

Во втором доме живет Иван в клетчатых штанах.
Он рябит в глазах, его любят шахматисты,
терпеть не могут домохозяйки.
Цельми днями он ходит по центральной улице,
продает персики,
кричит: «Сегодня отдам за четырнадцать,
а завтра уже восемнадцать».
Девочке из соседнего дома завтра восемнадцать,
она смотрит в зеркало и думает:
взрослая, взрослая,
Иван, ничего не продав,
дарит ей все персики,
абсолютно все.

В третьем доме живет Прасковья в оранжевом платке.
ее любят пионеры, терпеть не могут трамвайные мастера,
особенно когда она идет по рельсам
ближе к вечеру,
прямо перед закатом.
Мальчик смотрит в окно и путает ее с солнцем.
С трудом засыпает: то, что он видит
не соответствует тому, чему его учат.

В школе не говорили, что у солнца
длинные растрепанные волосы,
ноги и руки
и что оно умеет танцевать польку
на трамвайных линиях.

В четвертом доме давно никто не живет.
Запустение имеет свой запах, вкус и цвет.
Непрозрачные окна, ржавые замки, гнилые доски,
гладкие, твердые грядки.
Говорят, здесь когда-то был сад,
жил то ли учитель, то ли налоговый инспектор,
некоторые говорят,
что сада не было, а жила сумасшедшая бабка —
говорят многое, всегда говорят:
сплетни и разговоры
обязательно вырастают из пустоты.

В поселке всего пять домов.
Их жители постоянно пересекаются.
Здесь не бывает параллельных прямых —
только многоугольные фигуры.
Художник из первого дома
рисует картонных людей в реальном размере,
вырезает, выносит на улицу:
шахматиста, учителя, балерину...
Поселок отмечают праздник рождения.
Когда фигура притирается,
ее перестают замечать,
художник рисует новую.

В этом месте особенно рады авиакатастрофам.
Падающие с небес самолеты,
огромные лайнеры,

серебристые, будто ангелы,
железные, будто мечи,
длинные, будто жизнь.
Они всегда падают так далеко,
что до поселка не доносится ни копоти, ни шума.
Только острое сияние в небе,
за которым все жители наблюдают,
замирая с запрокинутыми головами,
и в этом синхронном поступке
они становятся еще ближе,
хотя ближе, казалось, невозможно.

* * *

Из того, что сделано, я выбираю флаг.
Не тряпичный — небесный.
Чем является синий
помимо бездны?
Боже, подай мне знак.

Без дна и без края, без конкретных границ,
начерченных аккуратно.
Чем является путь вперед
помимо дороги обратно?

Чем являются дни
помимо вращения земли?
Вертеться синхронно и
обернуться флагом.

Что такое синий и голубой,
когда он внутри с тобой,
кричащим: хочу домой,
без ужаса, но с отвагой.

Вот ты все отдал, что с собой унес.
Вот, куда ни плюнул — везде пророс.
Сам оказался прост,
как любой вопрос.

И хотя до зренья стрекоз дорос,
напевая:
медь, латунь, купорос.
Имена называл и
сам становился сплавом.

Чем является море без янтаря,
август без января,
человек без календаря?

Ничего не знал и не знаю впредь,
Кроме как лететь,
Кроме как смотреть
И размахивать синим флагом.

* * *

Три девушки ходили в концерт.
 Двум нашлось место в партере, третьей — на балконе.
 Долго толпились в плотной очереди на лестнице.
 Медленно двигались вместе с близкими людьми,
 Сograжданами, горожанами. Соприкасались телами.
 Качали звенящими головами, словно колоколами.

Одна девушка в антракте сожгла горло кофе,
 Другая — коньяком, третья — мартини.
 Первая по дороге к метро познакомилась с джинсовой
 курткой,
 Матерящейся, слегка небритой, ночевала в рабочем
 районе,
 Собиралась на работу в незнакомой квартире,

Вторая шла по мерцающей улице, подтаявший снег
 И желтый фонарный свет
 Промокаемые сапоги сообщались с природой
 Сигарета на ходу в любую погоду
 Тесная комната с книгами, собственный мир
 Прекрасный и безопасный
 Кухня, коридор, ванная комната, кладовка, сортир

Третья девушка взлетела в театре под потолок
 И осталась парить как противоестественное явление

Ибо кто-нибудь обязательно выбивается из колеи
 Непременно раздражает присутствующих
 Кашлем невовремя, необычным взглядом,
 Монологам, непонятными и странными,
 Чудаковатым видом

Я тоже был там, видел парящую девушку, говорил с ней
 Ничего не понял о том, как она жила,
 Что она делала, была ли она чьей-то женой, примерной
 служащей
 Или безалаберной психопаткой

Я попытался выяснить у нее собственное будущее —
 парящим под потолком,
 Думал я, все должно быть видно безошибочно, как летчику
 или птице

Но она только кивала молча и указывала рукой куда-то вдаль,
 То в направлении моего дома, то каких-то неведомых мест

Она смотрела странным прозрачным взглядом
 Кивала
 Белое платье ее развевалось как парус

Я все понял из ее молчаливого жеста, воздушного качания
 И пошел прочь в сторону дома, чтобы обнять своих
 близких,

Сказать им что-нибудь перед сном, а утром
 Проснуться и отправиться в незнакомые места
 Знакомые места
 Другие места
 Прочие места

На следующий день я перекладывал бумаги на работе, руки
 мои были легки
 Ехал в переполненном трамвае и видел белые простыни
 города

Многоэтажки, торчащие шлакоблочными великанами
 Быстрых и медленных людей
 Я участвовал в движении непосредственно

Ловил черные буквы, выпрыгивающие из раскрытой
в метро книги
Приходил к кому-то родному, клал голову на плечо,
Читал маленькие смс-ки,
Пока земля вертелась вокруг солнца и собственной оси
Точно так же,
Как в день концерта, куда они ходили втроем,
Как в день показа фильма Люмьерами,
Как во времена инквизиции, майя, египтян, атлантов,
Настоящих летающих девушек

* * *

Под голубым идем мы будто так и нужно
Как будто удивляться невозможно
А это совершенно удивляет
Как мы идем с тобой под голубым

А вот смотри желтоволосый кто-то
Вдруг засыпает на большой подушке
Чему тут скажешь можно удивиться
А это же совсем невероятно

Как удивительно движение пальца
Как невозможно странно засыпанье
Невероятно как друг друга видим
И дышим как и ходим и сидим

Чем проще тем странней и незаметней
Тебе бы все о сложном о планетах
Движении рождениях и смерти
Об электронах в вакууме плотном

Смотри смотри собака чешет ухо
И с неба что-то белое летит
Какие-то немислимые люди
В ладони помещаются такие

Как происходит что из неба вдруг
Как будто снег слетели человеки
И все поют поют как будто кто-то
Им пенье как лекарство прописал

О спой мне песенку о том как мы уходим
Как мы идем по каменной дороге

Под чем-то голубым и в нас сияет
Немыслимая лампа патефон

Как я похож на этих человек
Как ты похож на этих человек
Как можно тоньше и как можно тише
Как можно удивительнее спой

*Летчик небесный, летчик подземный,
летчик земной*

Ф.С.

Высокий летчик теменем подпирает круглое,
нависающее, свинцово-серое.
К Федору ежедневно приходит отец,
рисует на щеках морозный румянец

Усатый доктор в фирменном халате разводит руками:
тут редкий случай детского аутизма,
в будущем вероятен манифест шизофрении
Ничего не возможно исправить

У Федора отнимается речь, когда ему говорят,
что папа был летчиком и разбился на сверкающем самолете
Ему является худой и серый, харкающий кровью,
грудь его сотрясается, покрытая татуировками,
куполами, синим оскалившимся тигром

Кровь, — говорит отец, — призывает тебя, Федор
никогда ничего не бояться,
извивающихся тополей, их странных теней,
старой шубы в шкафу, соседского забияки,
учителя физкультуры,
особенно когда он запирается с тобой в раздевалке
и заполняет твой рот, Федор, собою, постанывая,
приговаривая: отработывай, сын убийцы,
отработывай его преступления

Когда ты вырастешь, Федор, когда у тебя будет
большой летательный аппарат,
когда ты достанешь теменем неба —

тогда ты заговоришь и мир перевернется от удивления,
от твоей громогласности
Тогда и заткнешь глотки тем, кто учил тебя нравственности,
кто пичкал таблетками,
заставлял зубрить замысловатые теоремы.

Острый профиль, свинцовое небо, темя под солнцем,
церковные купола, нетронутые джунгли, их тихие тигры,
праведные законы природы
Прошлое, определяющее настоящее,
хотьба по кругу из поколения в поколение

Ибо зло творится во имя добра,
ибо зло — красота, а она, как известно,
Всегда побеждает, —
Вот что отец Федору говорит,
Летчик небесный, летчик подземный, летчик земной

* * *

Смотри, летит над яблоней печать -
ты думаешь, я должен означать?
Я никому и ничего не должен.
Где слова нет — там нет предмета, и
наоборот:
где нет предмета — слово
бездомно.
Ну, стреляй в меня,
а попадешь — тогда бери меня,
таким вот, неподвижным, неудобным.
Неси меня, пока не упадешь.
Как назовешь меня, так и пойду.
Хоть буквой «о», а хоть бы знаком твердым.
Ищи меня потом, где горизонт
маячит нечитабельной строкой.

Так говорил внутри ее ребенок,
Стуча в живот то пяткой, то рукой.

* * *

Где поворот замыкается в тот же круг,
Утро тянется к следующему утру,
Корень к корню, рука к руке,
Слово в пространстве — к слову на языке.
Как возможно быть там не навсегда,
Как ходить по асфальту, когда
Внутри — бурлит руда, и снаружи — руда?
Так, — отвечает кто-то, — как будто ты
В жизни, отстоящей от высоты
Порхаешь, будто боинг на трех крылах,
Смелость твоя — одновременно твой же страх,
Шаг назад — одновременно шаг вперед,
Тождество — прямая и поворот.
Слышишь, как внутри тишина орет?
Закрывает рот, открывает род.
Да, — говорю, — и язык продолжает род.

Морское радио

* * *

Стою, как вкопанный
Сижу, как пригвожденный
Хожу пружинисто хожу как по канату
Бегу по кругу
Лежу красиво, на спине, раскинув руки
А это лето, пух идет, июнь.
А у меня ни пистолета, ни гранаты,
Ни арбалета, ни копья — я безоружен,
И пух, летящий как угодно мимо неба,
Влетает в уши мне, и в нос, и в рот.
Вот в этой белизне — и я такой же белый,
Я спрашиваю: что это? И это
Мне отвечает странными кивками:
«Не *что* я — важно,
Важно, что я *есть*».
Я верю, верю, пух летит, и лето,
И это вот, которому я верю,
И это вот, лежание слепое:
Нет повода смотреть по сторонам.
Стою — как вкопанный
Сижу — как пригвожденный
Хожу — и это, лето, пух, и белый,
Ни пистолета и ни арбалета
И круг и слово
Тополя
Бегу

* * *

Где видно что-то, слышно где —
я был ли там, а, может быть, не был —
там же?
Как все равно мне?
Так мне все равно:
лопата, вилы, грабли — все равно.
Сложить оружие — и лечь (ни там, ни здесь),
лежать и отражать в себе окно,
деревья и балконные перила.
Ах, как меня земля
терпела и носила,
когда ходил по ней так грубо,
тяжело,
копал ее,
полл,л,
перелопатывал,
колл,л.
Ну, как же, как — терпела и носила,
И — больше: как она меня простила?
Свинцовый шаг
и взгляд цепной,
кулак до белизны сплошной и плотный.
А мимо воздух проносился — легкий, полный
чего-то главного, и в грудь мою стучал,
а я — все шел и шел, не замечал
ни крошек на асфальте, ни песка,
ни встречных лиц, ни плача, ни плеча.
А было что со мной, когда висел один
на поручнях, сиденьях, табуретах,
дорогах, мотоциклах, интернете —
придурошный, уставший, молодой?
А как лежу теперь я, черный ком держа,

и нет во мне ни сабли, ни ножа,
вот только отражения дрожат —
пылинки, листья, медные монеты,
балкон, цветы, и я — собой наружу,
все обещаю что-то не нарушить,
быть осторожно,
отражать отважно
дышать, как нужно.

* * *

Что управляет тобой, кто направляет тебя,
 когда по дороге домой
 думаешь о совершенном?
 Когда голова твоя — так высоко-высоко,
 над крышами и проводами,
 но недалеко от земли, как стебель какой-то, колыхается
 шея?

Кто вдруг хватает тебя
 перед входом в кино или дверью кафе,
 в какой-нибудь вечер, который занять получилось
 не тем, чем хотелось, а тем, что далось?
 Кто это прямо в твою диафрагму стучит,
 колет невидимым шилом в брюшную аорту?
 Это больной, сумасшедший внутри,
 у которого все — не по-женски и не по-мужски,
 а, скорее, по-детски — жестоко и прямолинейно.
 Я — твоя речь, — говорит он, —
 я — шут, и я — царь, — говорит он.
 Пережимаешь сосуды
 до уничтожения ритма,
 не дышишь почти что, а он —
 ежесекундно течет в любом капилляре.
 А когда на секунду в течение дня замолчать?
 А когда замолчать — посмотреть.
 Посмотреть и бежать?
 Посмотреть и остаться?
 Это что-то внутри — то ли девочка, а то ли мальчик,
 С волосами морскими,
 Глазами морскими
 И кожей морской
 Говорит: утони
 И ты — тонешь

* * *

Устрица, которая кормится дарами моря.
 Раз-два-три — отбивает ритм
 Фантастический осьминог.
 Что происходит, когда нас остается двое?
 Куда мы уходим, когда покидаем дно?

Нестеров, Нестеров, перекажи поле,
 Перебеги поля, перелети небеса вдоль и поперек.
 Прямой позвоночник — только вопрос силы воли.
 Есть ли польза от кривой спины и поломанных рук?

Я слышу в ушах морское радио,
 Я Нестеров,
 Я донное чудище.
 От меня ничего не остается, когда я поднимаюсь вверх.
 Вверху кричат чайки, ходят курортники,
 Случаются побоища.
 Уход на землю для осьминога — смелый шаг или
 Всего лишь побег?

Нестеров, Нестеров!
 Мимо проносятся катафалки, пчелиные стаи,
 Красные цветы, льняные пешеходы.
 А ты идешь среди этого такой же, как все.
 Воздух, — говоришь ты, — практически то же море.
 Их отличие — в весе.
 Их сходство — во всем.

Нестеров, всякие перекрестки несут в себе
 Недостижимость чего-то,
 Всякое будущее — отсутствие некоторых вещей.
 А всякое море и всякий воздух

В конкретном месте —
Все море вообще,
Весь воздух вообще.

**Я говорю о том,
о чем не могу сказать**

* * *

Я говорю о том, о чем не могу сказать:
вот, на апрельскую зелень падает вода,
поднимаю голову кверху, жмурюсь,
чихаю от солнца,
слепой дождь,
зрячая трава,
моя задранная голова.
В течение суток, казалось бы, одна и та же весна.
Отчего в разное время она по-разному прекрасна?
Кольца дыма, летящие в небеса,
то ли дождь, то ли роса.
Я представитель удивительной безмозглой расы.
Говорить о себе — невыразимо просто,
быть собой — сложно необъяснимо.
Раньше жизнь казалось мне подвешенной простыней,
развешивающейся на бельевой веревке в коричневом дворе.
Белая, чистая и простая,
ее снимают и глядят,
крахмалят
и она обалденно пахнет.
Теперь жизнь представляется мне огромной сферой,
заполненной переплетенными нитями,
движение одной из них вызывает смещение другой.
Поэтому я несу ответственность за движение даже своего
мизинца.

Когда я понял это,
я вспомнил всех, кого когда-либо обижал очень сильно,
и огромное чувство вины затопило комнату.
Я плавал в нем неподвижно,
будто пораженная жарой медуза.
Раньше я считал, что совершенно свободен и могу
размахивать руками сколько угодно и как угодно.

И делал не только это: я прыгал на грудных клетках тех,
 кто был мне близок,
 думая, что стою не на людях, а на песке.
 Я не замечал очертаний человеческих лиц в пляжном
 рельефе.
 Я ложился, зарывался в песок, чихал на солнце, играл в мяч.
 Я был так юн, что совершенно верил в возможность своей
 свободы,
 абсолютной свободы простыни, развевающейся на ветру.
 Теперь я знаю,
 что, поднимая голову к небу и принимая каплю воды
 на кончик своего носа,
 я волен испытывать счастье, дышать и жить,
 но —
 от того, как я жмурюсь, зависит
 траектория капли,
 а от ее температуры
 зависит то, как я жмурюсь.
 Это и есть свобода,
 прекрасная свобода пробивающейся апрельской зелени,
 сильной, ароматной и водянистой,
 свобода весеннего дождя,
 сильного, ароматного и водянистого,
 при соприкосновении которых
 рождается жизнь.

* * *

Рыжий мальчик лет пяти танцует
 Возле подъезда
 Под неслышную музыку.
 Наблюдаю за ним, затягиваясь сигаретой,
 Которую нельзя: воспаление легких,
 Бронхит, открытый балкон.
 Музыка в самом нутре его,
 Музыка детства, в котором
 Целый час или два кажется,
 Что минутный конец дружбы
 С Петей, соседом по парте, —
 Большая беда, а через полтора часа
 По ТВ показывают мультики о Скрудже,
 Чипе, Дейле и Гаечке,
 Во время которых забываешь обо всем.
 Потом танцуешь под чьим-то балконом
 Рядом с прекрасным велосипедом,
 Настоящим железным другом,
 Которого ты обматываешь
 Синей изолентой
 Для пущей красоты,
 А кто-то там, на балконе,
 Думает о тебе,
 А ты об этом не знаешь —
 И никогда не узнаешь,
 А потом этот кто-то перед
 Плоским монитором пишет о тебе,
 Непроизвольно срываясь
 В собственные воспоминания,
 И круг замыкается.

* * *

Я раньше писал о смерти,
 Не будучи с ней знаком.
 Я не слышал ее безразличного дыхания в весеннем ветре,
 Не видел ее цветов, пробивающихся возле
 Канализационных люков
 В самом конце марта две тысячи восьмого.
 Не видел ее людей, ходящих под руки
 По больничному двору,
 Ее беззаботных пациентов,
 Выходящих из реанимационного отделения
 Для того, чтобы выпить пару бутылок пива с друзьями
 Перед выпиской.
 Я ничего этого не видел, оттого
 Скучал по смерти и звал ее.
 А когда она пришла, не ко мне,
 А к моему единственному человеку,
 Который, окруженный весенними почками,
 Пробивающейся листвой,
 Кирпичными стенами, кафельной плиткой,
 Холодной кожей, мышцами, костями,
 И бог знает чем еще —
 Когда смерть пришла к ней, подступила к самой ее шее,
 Я больше не захотел ее знать и перестал звать ее.
 Но она гуляла сама между прозрачными клетками воздуха,
 Залетала в мои ноздри, сердце, руки, веки,
 Жила в голосе реаниматолога, отвечающего «шансов почти
 нет»,
 На больничном крыльце и оранжевом одеяле, в котором я
 Принес ее в приемное отделение токсикологии.
 Мне двадцать четыре и у меня зеленые глаза, говорила смерть.
 Смерть, говорил я ей, смерть, отступись,
 Пусть она останется.

Я пел ей Земфиру в реанимационном коридоре:
 «Смотри в меня, останься».
 Я даже не мог как следует заплакать
 Семнадцать часов, пока она была в коме.
 Когда она открыла глаза,
 Я совершенно заплакал.
 А сегодня подумал, что я никогда больше не буду
 Писать о смерти, думать о ее взгляде в весеннем небе
 В самом конце марта,
 Я буду писать о паровозах, машинистах,
 Ацтеках, океане, песочницах, конструкторах «лего»,
 Любви, компьютерах, интернете, концертах
 И о таком тихом и громком внутри,
 О таком сильном и слабом внутри,
 О том, как машинисты в паровозах
 Едут через желтые песочницы,
 Человек с ноутбуком сидит на концерте,
 Интернет стучится в окна,
 Ацтеки любят океан, —
 О жизни.

* * *

Как по воздуху передаются слова?

Через парящие пылинки,

Световые блики,

Спящих комаров.

Летят звуковые волны -

Невидимые тела

Произнесенных слов.

Я стою посреди площади Конституции

Под одним из самых известных памятников

Нашего города. Некоторые называют его холодильником,

Некоторые — двое из ломбарда,

Я не называю его никак.

Если назначаю под ним встречу,

Говорю «на Советской» (рядом станция метро).

А люди чувствуют место, о котором речь, нутром.

Как по воздуху передается непроизносимое?

Через парящих голубей,

Раскрытие рук,

Случайное соприкосновения плеч.

Летит, летит непроизносимое,

Залетает в самое сердце,

Так, что все, чего хочется —

Просто лечь.

Я стою посреди площади Конституции,

Солнце перемещается, земля крутится,

В руках у меня браслет из деревянных бусинок,

Я перебираю их одну за другой.

Первая — я маленький и глупый,

Вторая — я подросток и глупый,

Третья — я взрослый и глупый,

Четвертая — плюю на клумбу, жду.

В воздухе весенний свет бесится,

Сияет и очеловечивается.

Браслет кладу в сумку, навстречу иду.

Как по воздуху перемещаются старики?

В тесных садах,

У городских замусоренных прудов

Сидят старики и старушки —

В широкополых шляпах, цветастых косынках.

Не дошедшие до ближайшего рынка

Или не вернувшиеся с ближайшего рынка.

Их кожа суха, пусты их зрачки,

На коленях сложены руки.

Крошки хлеба клюют городские птички.

Кто их сюда принес, как они прилетели?

Худые красивые старики,

На каких крыльях сюда прилетели,

Какими путями исчезли?

Как их увидеть или потрогать,

Парящих где-то в воздухе,

В особом пространстве

Между словами и непроизносимым?

Я стою на площади Конституции.

Ты сегодня такая красивая.

* * *

Я знал, что бывает так:
 люди в зоопарке больше похожи
 на животных, чем они сами.
 Раз в год, в апреле, я хожу в зоопарк,
 когда над самым центром города
 раздаются павлиньи крики,
 похожие то ли на сирены,
 то ли на скрежет тормозов.
 В желтой газете читаю о пополнении
 в семействе муфлонов.
 Закрываю глаза и вижу:
 да, правда.
 Сколько их?
 Десятки, сотни, тысячи
 новых стройных муфлонов
 бегают по харьковскому зоопарку,
 проносятся мимо меня,
 будто они не парнокопытные,
 а гепарды как минимум.
 Их глаза с линейными зрачками,
 взгляд, лишенный смысла,
 безобидные морды.
 Муфлоны, — говорю я им,
 муфлоны, вы гордые и стройные животные,
 гораздо больше люди, чем посетители
 этого заведения,
 вы быстры и красивы, муфлоны,
 вы круче порше, лучше велосипедов.
 Муфлоны смотрят на меня с фотографии
 в комсомольской правде
 и в этот момент являются тем,
 чем я их воображаю.

Прелесть иллюзий,
 миров, которые сам себе создаешь,
 милых машинок, порхающих в твоей голове,
 будто какие угодно бабочки,
 в то время, как муфлон с безобидным взглядом
 просовывает нос между прутьями клетки,
 выпрашивая у меня то ли чипсы, то ли капусту.
 В то время, как сегодня апрель
 и днем гремела гроза,
 в то время, как реальность
 живет где-то между подуманным и высказанным,
 мерцает между ними, извивается
 неуловимая, словно уж,
 голосистая, словно павлин,
 тихая, будто взор муфлона,
 Истинная, как то,
 что о ней невозможно
 ни толком подумать,
 ни, тем более, сказать.

* * *

Мартовский снег, мохнатые круглые хлопья,
 Нежность моя вы, мохнатые круглые хлопья,
 Нежность господня, мохнатые круглые хлопья.
 В самом начале весны — мохнатые круглые хлопья.

Бог мой, я проникаю в мгновение так глубоко,
 Что сливаюсь с ним воедино,
 И каждое снежное тело весит так много,
 Но то же время — так мало,
 Что и я становлюсь невесомым.

Мне бы ничего не трогать, ничего не ловить,
 Стоять сумасшедшим в снегу и воздухе
 Мне бы сказать: Господи, я больше никогда ничего
 Не буду планировать,
 Кроме похода в магазин или рабочего графика,
 Я никогда не буду чертить в голове карты своего
 Жизненного пути, будто действительно имею на это право
 И что-то знаю о нем.

Господи все меняется так быстро,
 Что я не успеваю подумать какую-то вещь,
 Как она превращается в снег и тает на земле.

Господи, я только буду слушать твое дыхание,
 Твою нежность, которая одновременно является моей.

Я хочу смотреть, как нежность взрывается в воздухе
 И пикирует мохнатыми круглыми хлопьями
 На наши носы,
 И в восхищении замирать оттого, что на коже твоей
 Мерцает капля воды, бывшая снегом секунду назад,
 И думать, что среди снега не разобрать,
 Где ты, где я, а где Бог

* * *

Ты — дерево, твой ствол прозрачен и чист,
 Но я касаюсь рукой и ты слышишь меня.
 Ты — дерево, и я как осиновый лист,
 Но ты ребенок воды и земли, а я — сын огня.

БГ, «Дерево»

Если бы ты была моим деревом,
 Я бы удивлялся тебе так искренне и нелепо,
 Что, наверное, привлек бы внимание общественности
 Своим выражением лица.
 Они говорили бы: глупый, глупый,
 Посмотрите в его зрачки,
 Они широки, как родина и черны, как дыра.
 Так я бы поливал тебя из огромного шланга
 В июльские дни, когда редко бывают дожди,
 Слушал бы твой шелест и уши мои
 Разрастались бы до размеров слоновьих.
 Я бы хлопал ими, будто большими странными зонтами
 И невероятно взлетал бы от воздушной тоски.
 Тоска, тоска оттого, что я же не дерево
 И все, что умею — трогать твою прекрасную кору,
 Говорить с твоим невообразимым шелестом,
 Целовать твои листья, качающиеся на ветру.
 Но мне никогда не проникнуть внутрь,
 Не услышать воду, что протекает в тебе
 От корней до макушки,
 Не объять твои клеточки, сеточки, твой фотосинтез.
 Все, что я могу — смотреть с любовью и удивляться тому,
 Как в тебе протекает жизнь
 И разделять ее с тобой с помощью

Моего круговорота воды в природе.
 Я могу дружить с такими же камнерезами, как и я,
 Говорить с ними о том, как вода точит камень,
 Знать их изнутри полностью и оттого
 Не трепетать перед ними и не желать сливаться в одном.
 И только в поступке с тобой становиться тем,
 кем не можешь случиться один,
 Например, гениальным художником Гойя.
 Ибо все мы дружим с подобным себе, а любим другое.

* * *

Я видел, как дом наполняется светом, в котором летает
 Бесконечная саранча.
 Я размахивал палкой, как жезлом волшебным, пытаюсь
 Быть похожим на отменного бейсболиста.
 Но ни разу мой жезл насекомые крылья задеть не сумел.
 Я пытался подпрыгнуть и лбом столкновение устроить
 С порхающим воздухом, но получалось совсем
 Другое: я уходил в этот свет, будто трактор печальный,
 Который уходит в колосья — так громко и так неуклюже,
 Я так уходил безвозвратно, что вдруг оставался один.

Мне было семнадцать, а, может быть, десять,
 А может, мне не было вовсе
 Какого-то возраста, ибо он, возраст
 Является только названием времени,
 А время на самом-то деле разве бывает?
 Не знаю, не верю.

Я видел, как дом наполняется светом, гудящей толпою
крылатой
 И я в этом гуле — спортсмен, стриптизер — очумело
пытался спастись.
 Стрелки часов отрывались под страшным напором от
циферблата

И в тело вонзались мое механическим жалом.
 А я, между ребер пронзенный и слева, и справа,
 Будто странный солдат, забывший уйти в отступление,
 В окопе не знавший пригнуться,
 Я так прямо и смело стоял,
 Что умереть не умел (пусть бы очень пытался).
 А смерть на самом-то деле разве бывает?
 Не знаю, не верю.

Мне проще поверить в синий бесформенный пластик,
Который машины превращают в бездонную емкость,
И который под крышей завода становится формой бутылки,
После горлом наружу стоит.

Я видел, как дом наполняется светом, и как поднимается
солнце,
А в форточки узкие, как в пылесос, саранча исчезает
И с улицы странный доносится свет,
Который бесшумным быть больше не может.
С каким-нибудь звуком — шуршанием, шелестом,
шорохом?

Он наступает в меня.

Я выходил за пределы притихшего дома,
И видел, что во дворе на дорожке бетонной
Бутылка стоит, а откуда-то сверху
Тела саранчи опускаются, будто гранаты-лимонки,
Будто плоды какого-то дерева, будто
Бомбежные быстрые листья сухие, тяжелые отчего-то
Оттого будто кто-то налил их свинцом изнутри

Невысоко над землей
тела саранчи превращаются в капли воды
И заполняют бутылку
А солнце восточное светит,
Отражается в пластике синем
И воду пронзает насквозь
Говорящим сиянием белым

Я в это поверил, не слыша,
я не знал, что такое бывает.

О, бейсбольная бита моя, улетевшие стрелки,
Мне снова семнадцать и крутится шар голубой.

Не о самолете

* * *

Устала Джинджер, легла на лавку, приколола на воротник
булавку

Чтобы сразу: от вора и сглаза.

Закрывает веки, пальцы скрестила. (Как ее только земля
носила?)

Лежала Джинджер, а в небе — звезды, а в реках — рыбы, и
в рыбах — рыбы.

Лежала камнем, лежала глыбой. А люди медленно плыли
мимо.

И снился Джинджер король английский, за дверью —
два исполинских пажа

И видит Джинджер: на потолке, на стенах и на полу —
матрацы,

А голый Генрих по ним гарцует, кричит, лепечет, протестует

А воля будто непоправима

Пажи потребности восполняют в еде, питье, но не позволяет
Чего-то большего доктор Уиллис: король и мания
Джинджер снились.

Гарцует Генрих, заходит доктор. Он экскременты в него
швыряет

Пажи немые в игру вступают, по рукам и ногам его обвивают
Веревкой и на матрац бросают

А воля каждого поправима

Лежит обвитый младенец Генрих. А в небе — звезды,
а в реках — рыбы,

И воля речкою вытекает

Король низвергнут, безумец правит, но скоро он свой
престол оставит

И вступит новый правитель — Уиллис

А воля — воля куда-то делась

То ли вылилась,

То ли снилась

Лежала Джинджер на лавке в парке, а рядом —

два незаметных пажа

И не спасет ни крест, ни булавка от этой кражи,

неслышной кражи

Как ее только земля носила? Били по всем уголочкам тела

Чтобы смотрела под ноги тихо, а не вверх на звезды глазела

А у мертвых такое тело:

Что живому непоправимо,

То для мертвых — благое дело

Воля, воля

летит на волю

* * *

У высокой ограды стоит и поет инвалид —

Помогите, болит.

И кошачье семейство его повторяет навзрыд:

Отпустите, болит.

Переступает и трогает острый забор.

Кто бы его за ограду забрал?

Там, за оградой — цветущий немислимый сад:

Яблони, розы, фиалки, сирень, виноград,

Мясо говяжье, покорный мышинный отряд

(кошачьи фантазиям многоголоса вторят)

Трогает слепо шершавый забор и поет,

Лысой макушкой уставившись в звездность высот.

Из-за ограды он слышит: доносится звук.

Это ль деревья шумят (или мыши пищат),

Это ль такое поет

На расстоянии дальше протянутых рук

(Или лап)

Тот самый немислимый сад?

У высокой ограды с другой ее стороны

Слушает песню другой ее стороны

(это ль тот самый немислимый город поет?)

Стоит и поет с другой стороны инвалид —

Помогите, болит.

И собачье семейство его повторяет навзрыд:

Помогите, болит.

* * *

По желтому идти, без севера и юга,
 И без порога —
 Так себе, идти.
 И так дышать — вне глубины, объема
 И частоты.
 Вот так себе дышать.
 И, за угол свернув, увидеть синий,
 Огромный синий столб до облаков.
 И так ему ничуть не удивиться,
 Что погрузиться внутрь его рукой.
 На синюю ладонь смотреть спокойно.
 Вперед пройти на два шага, на три
 И развернуться.

Так вот посмотри
 На желтое снаружи,
 Живя у синего внутри.

Там волки ждут автобуса, немые
 все вдаль глядят. Им бы пешком —
 они стоят, стоят,
 Как пригвожденные (а может, правда,
 Подошвы их прибиты, как к кресту,
 И так они несут
 На странных пятках
 Огромный круглый груз несут)
 Там птичка мелкая летит
 Все выше-выше
 Ей зернышки клевать — она летит.
 В итоге по орбите
 Как будто камешек,
 Безвременно кружит.

Там звук, там свет, там радости тактильные,
 Зимой там запах вод, а летом — роз
 А ты, ну что стоишь ты в синем
 Столбе, как заново пророс?

(Стоят люди, с запрокинутыми головами,
 Устремленными вверх носами —
 Бессчетное количество голов)

Не можешь цвет ни взять, ни удержать,
 А там, смотри, опять
 Почти декабрь, и скоро рухнет снег.

(Люди стоят, с устремленными головами,
 Поднятыми руками)

Ну, что стоишь, слепой, как человек,
 Как птичка, невесомый. Смотришь вверх,
 Где перспективу зреньем не объять.

(Люди стоят, с поднятыми руками,
 синеющими зрачками,
 распахнутыми глазами)

Вот так стоят: не могут не стоять.

* * *

Где опустели словари
И старость просит
Кого-то двери отворить
Глагол «уносит»
Свое пристанище находит
Средь высокой
Унылой лексики.

Но смотрит многооко
С высот небесных
Маленькая муха.

И мир в её глазах — калейдоскоп.

Троллейбусы, маршрутки —
Прыг да скок,
И люди с оголтелыми зонтами,
Подпрыгивают, мелочью звеня.
На их груди строжайшая броня.
Но мухи проникают даже в щели
Такие, сквозь которые не видно
Людскому глазу ничего, а телу мухи
Туда проникнуть ничего не стоит.
И по броне они всё ножками стучат.
А человек хватается за сердце
Бежит направо — никуда не деться,
Бежит налево — как тут не напиться,
Взлетает вверх — как тут не умереть?

Господь всевышний, как на облаках
Унылое лексическое нечто
Им превозмочь?

Слова их покидают и уходят
На землю, где святая простота
В телах, что кровью полны и мочою,
В автобусах, трясущих языками,
В метро, подземном царствии реклам.

А сверху смотрит маленькая муха,
В ее глазах подпрыгивают люди,
Высокие и низкие, цветные
И черно-белые, и все они бегут.

Они бегут, под нос себе мурлыча,
Какие-то слова (они живые)
Они, наверно, с облаков упали
И прямо в рот кому-нибудь попали.

Скажите, где я, кто я здесь и что я
Собой являю в представленьи мухи?
А знает ли она, как нам противны
Ее жужжанье и зеленый цвет?

Волнует ли ее что-либо кроме,
Что мир в ее глазах — калейдоскоп?
Конечно, нет: калейдоскоп, полёт.

Мне хочется похожим быть на муху.

* * *

Из каждой неизведанной пурги,
Из каждого подтаявшего чуда
Выглядывают страшные враги.

А ты иди и говори, покуда
Язык не собирается беречь
Для немоты свою простую речь.

А ты иди, листвою своею полный.
Как камушек, который бросил мальчик
В простую воду — вот что можешь ты:
Освободить на время
Круговые волны,
А дальше безвозвратно утонуть.
Куда утонешь ты, нам неизвестно.
Нам неизвестно также, что на дне
Является плохим или хорошим,
Мы знаем только: многие на дне.
Кто ползал, кто летал — там все, на дне.

Из каждого фруктового сада,
Из каждой переписанной строки —
Выглядывает страшная награда.

А ты иди, словами, словно бочка,
Набитый, ты иди и говори.

Тонуть гораздо легче, не имея
Лишнего внутри.

* * *

Поднимается справа солдат —
И слева охрана,
Поднимается с юга пилот -
И с севера сонмы
Оголтелых людей подступают
К условному центру,
И с небес наступает не дождь,
А звенящие центы.
Говоришь ли с акцентом, иди
По путям языка ты,
Где сияют на ветках плоды
Спелы и языкаты,
Где спускается с дерева змей
И ложится на шею,
Будто гладкий медлительный шарф,
И поет саломею.
И на голову яблоко падает
Гулко и звонко,
А его поднимает солдат
И отходит в сторонку,
Да в своей стороне,
От него надкусив и потратив,
Остается на месте
И ест на десерт абрикосы.
Оставляя себя на трамвайных путях,
Отступаю
И смотрю на себя с высоты,
И себя я не знаю,
Будто маленький гвоздь
С необычной шатеновой шляпкой,
Позвонками пронзенный насквозь
Которого жалко

И который в себе запечатан,
Не помня начала.
А когда опускается яблоко
Прям на затылок
И стучит себе что-то о чем-то
То ты, неврастеник,
Поднимаешь его, по ладони катаешь
И смотришь
Удивленно, и вдруг восклицаешь:
«Полундра, полундра!»
И качается утро от крика,
Качается утро.

Молоко

На самом краешке стоя,
Пьет молоко такое
Девочка без конвоя.
А птицы над ней летят.
И безоглядно служит
Ей специальный отряд.
Сделает шаг — поправят,
Сделает два — наставят,
Три — перевоспитают,
Силы в жилы вольют.
А то, что пейзаж унылый —
Никого не волнует .
Лишь бы чашку держала
Смотрела себе покорно
Туда, куда говорят.

И все кругом молоко.

От твоего лица — ко мне
Такой сочится свет,
Что он густеет на ходу
И вот не свет, а мед.
От твоего лица — ко мне
Такой исходит мед,
Что он сияет на ходу
И вот не мед, а свет.
А это — я к тебе иду,
Вдыхаю на ходу,
И вот — уже совсем лечу,
А вовсе не иду.

А это — ты ко мне летишь,
И так ты высоко,
Что я машу тебе рукой
И льется молоко
Не в рот, а мимо рта рекой.
И вот — мы в ней плывем.
Нам хорошо с тобой вдвоем.
Мы мед и свет, мы — молоко.
Мы машем облакам рукой.
И нам кивает Ной.

И все кругом молоко.

У подъезда остановилась машина.
А помнишь, раньше были молоковозы,
Они звенели мимо моих окон
Направляясь в соседний детский сад?
Раньше меряли одной гребенкой.
Молоко было обязательно с пенкой.
Грубо наказывали тех, кто его не пил.
А теперь ты сама его хочешь,
Но найти не можешь.
Упрекаешь кого-то: украл, украл.
Не смехи меня: зачем вору нужно твое детство?
Ему бы дубленку приодеться,
Доллары из заначки,
Мобильников пачку.
А ты говоришь: молоко с пенкой,
Ободранные коленки,
Футбольный мяч.

И все кругом молоко.

У счастья глаза большие.
Открываются шире и шире,
И вот уже в них — мир.
Переливается и смеется.
Что б ни происходило,
Круглой земля остается.
А в твоих глазах она —
Заводная юла!
Прыгает и смеется,
Вертится и поется.
Никакая земля не круглая,
Девочка, ты —
Права.

И все кругом молоко.

Люди сидят на скамейке,
Печальны их лица.
Люди молчат.
Поговорят, улыбнутся.
Чуть-чуть покричат.
Опять замолчат.
И снова — печальны их лица.
Не прослезиться,
А только —
Куда-то смотреть, не мигая.
И птицы над ними летают,
И что-то у них на плечах.
У каждого чашка молочная:

Чья-то полная, чья-то — чуть-чуть и -
пустая.
И люди на дно этой чашки
Неотрывно
Глядят.

Песня

Это самый большой, самый мордастый
и самый глупый цветок.

В.В. Набоков, «Дар».

Холодно. Воздух будто подвешен.
Накрахмаленный снег,
Словно белый халат, распластался
По земле, по земле, по земле.
Как поверить, что черное — под?
Это черное — свищет,

А мир становится проще.

Отпусти меня, земле,
Я просто куда-то пойду.
Не по снегу, а так, по асфальту,
Совсем оголенному из-за тепла
Отопительных труб.
Отпусти меня, земле, я просто куда-то пойду.

Только пусть бы в дороге мой развевался бы шарф.
Это — очень красиво.
Под шарфом, как под парусами,
На ветер попутный никто никогда не возропщет.

И мир, между прочим, реально становится проще.

В простоте одинокой
На полочке чашки стоят,
Еле-еле сомкнувшись носами.
Цветы на окне, разобщенные
Даже горшками
До самого неба глядят,

Едва понимая,
Куда устремлен их растительный взгляд.
Да, впрочем, мы сами — с усами.
Но мы никогда не возропщем.

Заснеженный мир все становится проще и проще.

Я на асфальте стою, кулаки разомкнув и подняв.
В этой шапке и позе я напоминаю подсолнух.
В самую черную глубь вросли мои корни:
Я ни шага пройти не могу.

Под ветром подсолнухи гнутся,
Чаще ломаются,
Мерзнут и падают в снег.
Желтые точки на белом.
Никак не приблизиться.
Я — одинок, а значит, я — человек.

И черное — свищет,
А мир становится проще.

Отпусти меня, земле, я просто
Куда-то пойду,
Ну, чего тебе надо, смотри,
Я и так — весь нелепость.
Я смотрю (и не знаю, на что),
А все же смотрю,
Я слушаю (слышу я что?)
Я не знаю, а слышу,
Я стою — и не знаю на чем,
Но упрямо стою.

А черное свищет, что
Мир становится проще

* * *

У неба здесь особый резонанс.
Под ним идти — подобие пилота.
Кувшинкой распускается минута
И уплывает через времена.
А ты садишься к ней, как за штурвал,
и держишь тонкую текстуру лепестка
Как отвлечешься — слабится рука,
Но время курса не меняет.

И вот плывешь, как тот неандертал —
Такой, без окончания, ущербный,
Плывешь-плывешь, а над тобою — небо,
А перед — бутафория: штурвал.

Рулишь, дурак, и радуешься, что
Пространство над тобою — решето.

А дальше — хуже: вроде бы рулишь
И хочешь повернуть куда налево,
Но разворачиваешь только тело
И, как дитя, от радости гулишь,
Мальчишка, понимаешь, кибальчиш,
Который принимает изменение
своей оси
за поворот земной оси.

И что плохого? — спросит гедонист.
Он телом чист.
А то, что из него пилот хреновый —
Не ново.
Заблуждение его —
Ну, не ошибка, а, скорее, естество.

Он может тело влево повернуть
И поворотом тем счастливым быть.
А лучше не бывает, что кривить.

Мы гедониста прочь попросим в тон:
Мы радуемся, небо — решето.
В него тут провалился гедонист.
Исчезновеньем чист.

А мы плывем, пространственный окрас
В нас вызывает громкий резонанс.
Но вдруг нас из кувшинки выбивает.
Мы держим пару лоскуточков лепестка
И перемен не чувствует рука.
Мы чувственно сидим на берегу.
Рулим и говорим: «Агу, агу».
И это нас нисколько не смущает.

А рядом врач и медицинская сестра
Нас памперсами кормят на ура.
А мы сжимаем сухо кулачки,
Как будто там и вправду — лепестки.

И родственники радуются, что
Пространство над тобою — решето.

Не о самолете

Из первых рук пришел ответ:
Где жизни нет — там смерти нет.
Лети, лети над облаками!
Маши ли, не маши руками —
Пилот направит самолет,
А упадет — не упадет
Ни ты не знаешь, ни пилот.

Первый пассажир думает: «Господи! Если мы долетим,
Буду ходить по земле так, будто по золоту —
Бережно, осторожно, с любовью.
Дышать на каждый шаг.
Ни разу не забуду покормить кошку,
Ежедневно стану звонить маме.
(Смотрение смерти в глаза —
Чудная возможность поразмыслить над
Своими грехами)
Не буду грызть карандаши
Пауков перестану бояться
Начну жить заново
Буду хорошим мальчиком, а не паяцем
Стану подлинным зайцем».
И когда шасси прикасаются
К посадочной полосе,
Человек преодолевает преграды аэропорта
И настоящий ветер дует ему в лицо,
Он делает один шаг, второй, третий, сотый
Дальше идет — не зайцем,
А сияющим непомнящим подлецом.

Второй пассажир думает: «Господи! Если не долетим,
На то твоя воля.

Только можно ли это мгновенно,
Без боли.
Я не знаю, как ты решишь поступить с нами.
Станут ли часы полета последними часами»
Он смотрит в иллюминатор.
Там зимнее солнце жарит похлеще июльского.
Изнанка облаков стелется прекраснее ковра персидского.
Солнце к ним добавляет красного.
Небо у горизонта зеленое.
Глаза человека синие.
В зрачках отражается смертельная красота.
Когда он закрывает глаза,
Представляет жену,
Мысленно целует ее — от лба до пяток,
Вспоминает отца и мать.
«О чем, — думает он, — еще не бессмысленно
Вспоминать, если господь решит нас убрать».
Глаза открывать, глаза закрывать.
Перевернутые облака, любимые люди.
Когда самолет садится,
Он выдыхает и уходит.
Настоящий ветер дует ему в лицо.
Он делает второй шаг, третий, сотый.
Чувствует себя вором и подлецом.

Не имеет значения, кому молиться:
Богу ли, психоаналитику, дереву или птице.

В любом самолете молятся как минимум двое.
Первая молитва поддерживает одно крыло, другая — второе.

Сполох электропоезда

* * *

Успокой меня во мне,
утихомирь.
Эту жалобность во мне
утихомирь.
Ту растерянность во мне
утихомирь.
Я из роста в рост иду:
утихомирь.

Если есть ты, этот вот, Утихомирь,
Расскажи мне,
Как на небе
наступает тихий мир?
На земле как, расскажи мне,
наступает тихий мир?

Как во мне идет пчелиная возня
И, похоже, в этом гуле нет меня?

Я иду из роста в рост, как грузовик.
Как мой кузов раздается вверх и вширь.
Я бы с горем, будто жук, к земле приник,
А не рос бы теменем до всех небесных дыр.

Как дыра меня манит: на «не хочу»
Трижды плюнет через черное плечо.
Превращается слюна ее в крючок
И крючок глотает тот, кто должен был.

Он вращается в желудке, как волчок,
Чтобы я его крученья не забыл
Чтобы я ему до самой черноты
Благодарен был.

* * *

Сполох электропоезда:

Так изнутри зажигается гулкая черная пропасть.
Стремительный гул, будто рухнули
Тысячи башен кирпичных
Радует слух и мы рот раскрываем ему,
Будто какому природному чуду.
Нам разлететься бы, как полагается нам:
Невесомым и насекомым.
Разбросаться по сторонам.

Но страшное чудо случайно врачует.

Будто рябь на воде, на платформе дрожащие мы
Под напором тоннельного ветра дрожащие мы.
Силы тем больше, чем больше дрожишь на ветру.
Ветер тем больше, чем больше силы внутри.

Станция, станция, как от сумы до тюрьмы
От эскалатора до электрички протянуты мы.

Как мы стоим на платформе?
Прямо и гордо,
Взгляд устремив в черное горло
Тоннеля.

* * *

Уйми меня,
мышинная возня.
Я ибомышь,
и Бог ведет меня.

О, Господи, куда завел меня
С цветком во рту и яблоком во рту,
С моей застигнутой врасплох
Открытою рукою?

Как на ладони тополиный пух
Внезапно рухнул,
оказавшись вдруг
не пух, а пуд.

Вот так испуг
Нежданно обозначился покоем.

Поле в огне

Поле в огне

1.

Поле в огне, человек в огне, высокое солнце, ясное небо.
Подсолнухи качаются, будто люди в автобусе,
их лица ни радостны, ни печальны,
их лица качаются в такт чему-то:
неуловимый ритм.
Течение истории так же неощутимо,
но стоит прислушаться, как в месте,
где июль переходит в август, можно уловить
легкий треск: миллионы синхронно оторванных
листов настенных календарей,
застегнутых молний ветровок,
споткнувшихся шагов,
наклонившихся подсолнухов,
звонящих мобильных,
открывшихся дверей автобусов.

Высокое солнце, человек в огне, поле в огне, ясное небо.
Голова человека качается, будто подсолнухи на ветру,
его лицо ни радостно, ни печально.
Его лицо качается в такт чему-то:
едва уловимый ритм.
Течение индивидуальной жизни так же неощутимо,
но стоит приглядеться, как в месте,
где поле заканчивается, и начинается проселочная дорога,
человек надевает перчатки, шлем, кожаную куртку,
мотор мотоцикла рычит,
и поднимается пыль.
Еще секунду или меньше в пространстве остается
запах уехавшего человека,

чуть дольше держится запах табачного дыма,
дольше всего — выхлопов мотоцикла.

Остается поле в огне, высокое солнце,
тысячи качающихся подсолнухов,
оранжевый, желтый, зеленый, синий.
Сам по себе цвет, отсутствие
наблюдателя, способного его зафиксировать,
запомнить, назвать, даже потрогать.

Цвет сам по себе,
будто сон без спящего, зрение без глаз,
выражение без лица, движение без времени,
слово вне языка, человек без истории.

2.

Способность к встречному движению —
это желание двигаться навстречу.
Так думает мотоциклист, двигаясь по черной трассе
в направлении «за город».

Там все по-другому:
время течет медленнее,
люди одеваются вычурно,
коровы подолгу жуют жвачку.

На встречу едут на велосипеде или идут пешком.

Мимо усыпанных цветами, будто монетами,
летних лугов,
мимо волнистой, как смятая простыня, воды,
мимо горизонта в целом.

В целом, не думаешь о том, что двигаешься навстречу —
просто перемещаешься в теплом пространстве,
в течение некоего времени, за которым не следишь.

И когда приезжаешь в условленное место,
оставляешь мотоцикл, садишься на берегу,

смотришь на водомерок, качающиеся камыши.
потираешь колени,
слышишь дыхание того, кто обнимает тебя сзади.
И не нужно поворачивать голову, смотреть,
чтобы знать, каково выражение глаз того,
кто сейчас находится вне поля зрения,
но в пределах ощущений.

Каждый раз, когда я измеряю степень своего сумасшествия,
я думаю о том, что стоит поменьше думать и говорить.
Выбирать повседневные занятия,
оставляющие возможность молчания:
ловить рыбу, просто ходить пешком.

Но интернет, зарплаты, метро, мобильные телефоны.

Я похож на мотоциклиста,
желающего закрыть глаза вот прямо сейчас,
несмотря на светофоры и риск
вылететь на встречную полосу.

Как же я хочу просто любить тебя и никуда не торопиться

Гроза в летнем парке

* * *

Видно: орех качается на ветру,
небо почти зеленое. Гроза.
Часом раньше в парке Шевченко
под июньским солнцем
на траве сидели четыре девушки.
Три слушали,
одна играла.
На флейте.

* * *

Я почувствовал первые капли, порывы ветра.
Когда уходил, заметил: девушки оставались.
Сейчас вовсю гремит, кажется, прямо над домом,
электричество выбивает, а девушки эти где?
Мне хочется думать: они продолжают быть
там же, на летнем газоне. Вокруг бушует стихия,
они сидят, и ни одна капля
не попадает на их волосы, кожу,
а тем более — флейту.
Они сидят в солнце, будто в луче прожектора.
посреди зеленой тьмы, качающихся деревьев,
а флейта играет звонче и громче, и громче.

* * *

Мы любим самообман:
живем таким способом, потому что
вряд ли возможно выжить как-то иначе.
Вот я: нахожу близких и мы вместе строим такой мир,
в котором способны существовать.
Мы замечаем прекрасных девушек,
но не бомжей,
видим грозовой дождь,
но не помним об озоновых дырах,
не подпускаем волков к своим домам и друзьям,
знакомых выбираем очень тщательно,
так же тщательно, как и места в городе,
где мы появляемся.

А когда на работе слышим о том,
что некто Петька повесился, потому что
у него украли 5 литров селитры,
вздрагиваем и озираемся, а потом вздыхаем
облегченно: это не про нас.

* * *

Пока не наступает момент, когда обманывать себя больше
невозможно.
Скажем, когда зависаешь в лифте где-то между четвертым
и пятым
вместе с безымянным бомжом, и вы сидите там два, три,
четыре часа, обмениваетесь дыханием и запахами:
ты — своим модным антиперспирантом и орбитом,
он — смесью перегара, пота и мочи.
И ты, гладкий подбородок, смотришь на его
рыжую бороду, в которой скопилось все, что может
скопиться в бороде, и совершенно ни о чем не думаешь,

кроме того, что судьба планирует свои удары
расчетливо, будто военный тактик,
бьет наповал
в летний ясный день,
когда грозу посреди музыки
ну никак нельзя было предугадать.

* * *

Мой красный велосипед, светло-бежевые штаны,
черный браслет, фиолетовые кроссовки,
ветер в моих волосах, его равномерное шшшш в моих ушах,
парковая зона, сию рядом
с красным железным другом,
с книгой Левкина на коленях —
о чем это все?

О людях, что встречаются мне по дороге:
русые мальчики,
черные девушки,
платочные бабушки,
соломенные дедушки.

Шум фонтанов, поющие в центре города птицы.
Лето, шорты, майки, рубашки, шляпы, бутылки
шампанского.

Русый мальчик говорит черной маме:
«Мама, если я искупаюсь в фонтане —
ударить ли ты меня?»
«Конечно, ударю», — отвечает мама.
Мальчик говорит: «Тогда сделай это сейчас,
чтобы не ждать и я смог
спокойно пойти купаться».
Мама ласково треплет мальчика по русому,
и он бежит, разбрызгивается, бежит.

Платочная бабушка говорит соломенному дедушке:
«Дорогой, сегодня ты ни разу не сказал,
Что любишь меня, а где гарантия, что мы доживем
до вечера вместе?»

Соломенный дедушка обнимает ее и что-то шепчет на ухо.
 «Вот так, вот так, — произносит бабушка, — и я тебя тоже,
 уже пятьдесят лет подряд, старый дурак».
 «Ну, что, теперь сегодня умереть не жалко?», —
 спрашивает дед.

Бабушка улыбается и жует булку.
 Солнце светит деду прямо на соломенную шапку.

Арабы переговариваются между собой на каком-то языке,
 один подпрыгивает и подбегает к сидящей парочке,
 резко обнимает девушку.
 «С ума сошел?» — кричит девушка, все смеются.

Ближе к вечеру все собираются, Левкин почти дочитан,
 велосипеду надоело лежать.
 Разлетаются, расходятся, разбегаются.

В три часа дня, на харьковском «Каскаде», когда все мы
 образовали неповторимое сочетание —
 о чем думал бог, глядя на нас,
 о чем думали мы, глядя друг на друга,
 случайно становясь историей этого места,
 и без того хранящего в себе миллионы подобных историй?
 О чем каждый из нас думал перед сном,
 когда еще один день прошел?

Я думал о любви, потом о Големе, потом о таблетке,
 о том, что с непривычки болят мышцы ног,
 чуть-чуть о поэзии, а потом мне начал сниться сон,
 в котором я, сидя рядом с красным велосипедом
 в саду Шевченко, читал Левкина
 и смотрел на окружающих людей.

Стих о любви

Милая! Моя любовь не имеет имени,
 как непричесанное облако,
 летающее молоко.
 В ее названии —
 бесконечно расширяющееся «о».
 Когда маленький я сумасшедше кричал
 до полуночи,
 а как вырос побольше, выдал боевой клич:
 Авега! —
 Ты еще не родилась, а я не подозревал,
 что в причудливом времени мы всегда слились.
 Каждая школьная контрольная, стометровка бега,
 каждый дворовой шаг,
 каждая секунда большая и небольшая —
 была предваряющим обучением с тобой дышать.
 Дурацкое дерганье девочкиных косичек,
 подростковые недомысли о гадостях земных и жизни в раю
 оказались затянувшейся репетицией
 кульминации, когда я сжимаю и не отпускаю косичку твою.
 Родная! Я к твоему приходу вечность готовился.
 Учился на первом курсе, ты зависала рядом в шевченковом
 саду.

Мы ходили по одновременным улицам, а я творожился и
 морковился,
 думал: топчу круги в аду.
 А мы воздухом дышали тем же, в одних секундах покупали
 одежду!

Я, дурак, считал: любовь только в Москве живет.
 Я был, как холодильник, белый, будто зимний велосипед,
 неподвижный,
 и не знал, куда прислонить свой толстеющий живот.
 Я, как разгильдяй-студент, прогулявший семестр,

читал учебники времени в экспресс-режиме.
Сначала был пьяным дураком, потом дураком трезвым,
отбеленным грустью, выжатым на сотнях оборотах отжима.
Милая! Я потом лег, будто пчела в коконе:
не гудел и совсем не летал.
Кто-то рядом обогрел, а кто это, я не замечал.
Думал: люблю, потому как измочалился и отчаялся.
Я так полтора года лежал.
Город тужился и рожал сезоны поочередно.
А наше время — одно и то же,
не подкрепленное пространственным пересечением,
тужилось и рожало тоже,
делая нами — людьми-грифелями —
улично-городское черчение.
И когда мы у всех вымолили прощение:
у Владика, которого в детстве дразнили на даче,
у ежика, обиженного в пьяном подростковом угаре,
у мамы, практически родившей меня дважды, ибо
спасшей от смерти,
мы столкнулись лбами в кинотеатре и сказали:
«Здравствуй!
Неудачливые киношники — корейцы».
Простые слова: «девочка», «солнышко»,
складывались по буквам, будто картина мира,
выпрыгивали наружу — такие новые,
будто не только мы, но вообще их — не говорили,
каждое новое слово рождалось
примерно один раз в неделю,
а теория общего времени
перестала быть умозрительной канителью.
Милая! Пока ты ходишь в гости,
я — пишу, полный любви и злости,
оттого, что взялся за стих,
не имеющий финала, а только — начало:
любовь не имеет имени,

как непричесанное облако,
летающее молоко.
В ее написании —
бесконечно расширяющееся «о».

Сказано ясно

1.

Самые ранние дети еще не выросли
 Самые поздние не успели родиться
 Так хочется реализоваться
 Научиться вязать,
 если в руки вложены спицы
 А что получается:
 Ни вперед, ни остановиться
 Мечутся по кругу, как морские свинки
 Падают на белые спинки
 Откидывают лапки
 В общей охапке
 Падают, куда бросят, падают без оглядки
 Падают смело, будто всё — понарошку
 Словно мячик подбрасывают на ладошке

2.

Послушай, крошка, — сказал сосед соседу.
 Твоя бессовестная кошка
 Переходит на мой балкон и съедает цветы.
 Знаешь, сколько стоят мои цветы?
 Чтобы вернуть их -
 Один ты,
 Один, два, три года — каторжной суеты.
 Я и так работаю, — отвечает другой,
 На машинки, велосипеды, колбасу и цветы.
 Отныне буду работать только на твои цветы.
 В этом меньше бессмысленности, меньше суеты.

3.

Уехал в другой город
 Проходил мимо супермаркета
 Всё как дома
 Такой же кофе и пиво того же ассортимента
 Вышел из метро и не понял:
 То ли Киев, то ли Москва
 Одинаковые машины, одинаковые дома
 Асфальтовая целина
 Офисные леса
 Экспедиции первопроходцев
 Один утонул — другой тут как тут
 Двойная разделительная полоса
 Как дома, ездят и обгоняют
 Застыл, разведя руки
 Мешаю движению толпы
 Толкают, иногда матерят
 Тут же забывают
 Железные машины выстраиваются
 В пробочный ряд
 Ошалело гудят
 Беременная кошка
 Быстро пронесит между ними
 Будущих котят

4.

На балконе апрель
 Эти мелкозеленые штуки
 Незаметно растущие
 Неведомо как и конечно
 Неведомо в где

Этот странный не снег и не град
Просто белые штуки
Несомненно имеющие
Отношенья к воде
Это я однозначно процентов на
Семьдесят точно
Состоящий из этих зеленых и белых
Неведомых штук
Черт-те чем занимаюсь
По полутора метрам слоняюсь
Белье на веревки как белые флаги цепляю
Будто сигналю: сдаюсь

5.

Послушай, крошка, — сказал сосед соседу.
Я отработал твою оранжерею.
Три дня ничего не делаю, жру и жирею.
Позволь мне остаться бесплатным садовником.
Есть униформа: фрак и кеды.
Другой лежит под цветами, ничего не слышит.
Комната доверху в редких розах, он еле дышит.
Пошевелиться не может
У первого в руках ненужные спицы
С каждым словом изо рта выпрыгивает цветок
Первый говорит и не может остановиться
Другой не может не задохнуться